

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

Грустный
солдат *или* Жизнь
Всеволода
Гаршина

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
П 73

Порудоминский В. И.

П 73 Грустный солдат. — СПб.: Алетейя, 2011. — 272 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).

ISBN 978-5-91419-552-3

Всеволод Гаршин прожил на этом свете всего тридцать три года. Возраст Христа. Его часто и сравнивали с Христом, библейским про- роком, апостолом, мучеником.

Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине недостижимо-дальней, —

сказано было на его могиле.

Гаршин мало написал. Собрание его сочинений — одна небольшо- шая книжка. Но из тех, что «томов премногих тяжелей». Герои Гар- шина вместе с автором страдают, бьются над решением «жгучих во- просов», которые «каждый день, каждый час, каждое мгновение» ставит перед ними жизнь и ответ на которые они найти не в силах, гиб- нут в стремлении положить душу свою за други своя, но жить иначе не умеют. «Есть таланты писательские, сценические, художествен- ные, — писал Чехов о Гаршине, — у него же был особый талант — че- ловеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вооб- ще». С таким талантом трудно жить долго...

Книга Владимира Порудоминского — повествование о жизни писателя, которому, по собственным его словам, «каждая буква стои- ла каплю крови», повествование о гаршинском времени, в котором рядом с главным героем жили и творили Тургенев и Лев Толстой, Ре- пин и Верещагин...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

*Фото автора на обложке
работы Д. Захарова*

ISBN 978-5-91419-553-0



9 785914 195530

© В. И. Порудоминский, 2011

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

*Ведь грустным солдатам
нет смысла в живых оставаться.*
Булат Окуджава

СМЯТЕНИЕ

20 февраля 1880. Петербург. Гаршин

Куда ни повернешься, всюду это число «25»: тут выгибается арабской цифирью, вдруг напоминая о гимназии, где двойки именовались «лебедями», а пятерки — «утицами», там поднимается частоколом римских косых крестов, похожих на андреевские морские флаги, венчаясь стремительно падающим, как предчувствие беды, острым углом...

25...

XXV...

Всюду это «25», «XXV» — на фасадах зданий, и в окнах, и над воротами, и на протянутых поперек улиц разноцветных транспарантах, всюду одно и то же число, аляповато намазанное прямо по штукатурке или на вывешенных из окон простынях, изыщным вензелем выведенное по стеклу, сплетенное из еловых гирлянд.

Юбилей!

Иные дома и вовсе упрятали стены под бело-сине-красными полотнищами флагов, гигантскими венками — живыми, зелеными, и искусственными, посеребрёнными и вызолоченными, под холстинами ярких декораций, долженствующих изобразить в картинах и символах величие и благоденствие нынешнего четвертьвекового царствования.

Погода совершенно отвратительная, февраль едва перевалил за середину, а на дворе не то что снега нет — дождь; брызжет, как из прохудившейся водопроводной трубы, и под ногами какая-то невообразимая холодная каша, так и жжет, протекая в сапоги.

Странно: при самом тщательном осмотре сапоги, хотя и поношенные, казались совершенно целы, и подметки, и в швах, но вот ведь не выдержали испытания, и как их там ни подшивай и ни подлатывай, а теперь уж придется, без сомнения, заказывать новые.

Впрочем, он бы и не поехал в ту даль и глушь, куда собрался, без пары новых сапог в чемодане, ехать же он решил непременно, так что всё устраивается само собою.

Удивительное дело: сколько себя помнит, вечная забота — о сапогах; пока целы — тревожишься, что прохудятся, а прохудились — чем заменишь, пока чинятся, и неотвязная мысль, что пора откладывать деньги на новые.

Еще в отрочестве, в гимназическую пору, — болезненная неловкость, когда случалось не в срок просить у матери на обувку; пальто, сшитое у верного Михеля, недорогого и очень порядочного харьковского портного, он носит два и три года, что называется, не снимая, сапоги же так на нем и горят — то ли ходит много, то ли второпях ступает куда ни попадая.

Известно, что забота о сапогах есть удел не слишком имущих особ.

Правда, в обозримом будущем на сапоги ему, кажется, хватит: «Русское богатство», новый журнал, издающийся с недавних пор на артельных началах (в чем он принимает самое горячее участие), напечатал в январском номере сказку о гордой пальме, сломавшей решетку оранжереи; в марте идет рассказ про денщика Никиту, отрывок из задуманной далеко наперед огромной вещи — это будет его, Гаршина, эпопея, его «Война и мир»; другой рассказ, тоже недавно законченный, отправлен в «Отечественные записки», и Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, сообщил на днях письмецом, что нашел его весьма хорошим и в мартовской же книжке думает поместить.

Все это принесет сотню-другую; таких денег станет ему надолго, да и тратить в деревне не на что; многое из необходимого на первое время он возьмет с собой про запас: уже куплены чай, сахар, табак, папиросные гильзы, лампы, масляная и керосиновая, подсвечники и большая коробка свечей.

Куплены также: издание Лермонтова, более полное и точное, сравнительно с прежним, четыре тома сочинений Льва Николаевича Толстого и — очень удачно — три романа Жюль Верна по-французски, все три за рубль четыре копейки (французские книги предстоит, правда, переплести, чем он охотно займется на досуге).

Да и уезжает он не баклуши бить, не на чужие хлеба — работать; жалование обещано маленькое, конечно, но постоянное, пятнадцать рублей в месяц, плюс бесплатная квартира — отдельная изба; ехать же надо во что бы то ни стало, пора «приткнуться куда-нибудь свою особу», — объясняет он друзьям-приятелям (он часто говорит о себе, иронизируя, — совестно взваливать на других ту неимоверную тяжесть, которую постоянно носишь в груди).

Он уже сообщил матери о своем безусловном решении; самое трудное позади; бедная мама, она-то всё хлопочет, чтобы ее Всеволод «лез в самую центру», так она выражается, может быть, в шутку, но,

похоже, всерьез; все-то ей хочется, чтобы он писал безостановочно, как машина, чтобы всякий месяц печатал в журналах новенькое, чтобы подогревал интерес публики, которая, если постоянно не колоть ей глаза своим именем, беспрерывно тебя забудет.

Как объяснить ей, что это не рука, набравшая ловкости, нижез одну буковку за другой, что он сам, весь, с нервами и кровью, переходит в написанные им слова; как объяснить, что он, хоть семь шкур с него дери, обвиняя в бесхарактерности и лени, совершенно неспособен во всякое время загнать себя за стол, что слова являются, когда задуманное стало там, внутри, нестерпимой, кричащей болью; как, наконец, объяснить, что при всей его славе ему ужасно неуютно в компании важных «литературных человек» (так аттестует он в письмах к матери своих именитых собратьев по перу), что слава не тешит его — стесняет, зовет держаться подальше от «центры», в сторонке, в толпе со всеми этими «и мн. др.», как именуют их в объявлениях о подписке.

Никому он ничего не станет объяснять, оно и в самом деле может показаться либо вопиющей нерассудительностью, либо даже тщеславной страстью совершить нечто неординарное, либо, наконец, попросту болезнью, обычным для него расстройством нервов, — известный писатель, взамен того, чтобы попользоваться изменчивой славой, отправляется писарем в какое-то сельское товарищество, в глухомань — пятьдесят полных верст от Самары.

Конечно, «мамашу это убьет» (так восклицает по всякому поводу одна знакомая барышня): с высот популярности — и в деревню, «на съедение» мужикам. Той недавней осенью, когда он, по принятому выражению, «однажды проснулся знаменитым», той осенью разноцветными картинками волшебного фонаря вспыхнули в мечтах у бедной мамы публичные чтения, освещенные сцены, оvationи, лавровые венки, подносимые восторженными студентами, плотные томики собрания сочинений, газетные известия, что-нибудь вроде: «...приняли участие гг. М. Е. Салтыков, И. С. Тургенев, гр. Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, В. М. Гаршин...»; два с половиной года пролетело с той осени, сочинил он всего-навсего семь небольших рассказцев (негусто, мама!), публичности избегает, со студентами и курсистками ведет себя возмутительно запанибрата, перед Михаилом Евграфовичем робеет, с Тургеневым и Толстым до сих пор не познакомился. Ивана Александровича Гончарова видел лишь издали, два раза, на Моховой, когда он, держа за пазухой маленькую собачку, шел в сторону Мойки, к гостинице «Франция», где имеет привычку обедать.

Совершенное разочарование!

Никому не объяснишь, что стремиться к собственному благополучию он не может и не хочет, таковое благополучие ему, пожалуй, и

противопоказано: его хоть в масле с сухарями обваляй, бес, в нем сидящий, непременно о себе напомним, отравит сладостное мгновение, ударит, и по самому больному месту, — и тотчас глаза откроешь, чтобы взглянуть окрест себя.

Такая у него доля — стыдиться собственного счастья, отзывать на него отчаянием и болезненным «ковырянием» в себе, тяжкой неудовлетворенностью и мучительным поиском пути (знать бы — куда!). Тут, если есть выход, так именно тот, чтобы растворить себя со всей своей единичной жизнью в жизни общей, в общей радости и общем страдании, каковы бы они ни были, — он это с семьдесят седьмого года знает.

Об этом он написал рассказ «Ночь», тот самый, который отдал Салтыкову в «Отечественные записки»: человек привык слушать две торопливые однообразные нотки собственных карманных часов и почитал свою жизнь благополучной; но однажды, распахнув окно, услышал дальний звон колокола, собирающего людей. Вот, оказывается, есть же общее время, как есть общее пространство — огромное, усеянное яркими звездами небо над заснеженным садом, над городом, над целым миром, общее для всех небо; человек распахнул окно и увидел звезды — сколько лет замечал он разве что бронзовые гвоздики на обитой зеленым сукном входной двери. Человек-то задумал покончить с собой, и заряженный револьвер лежит на столе, но с отворенным в морозную ночь окном, звоном колокола и звездным небом открылась ему мысль о жизни общей, с которой непременно надо связать себя, единоличное свое «я» отвергнув. Человек этот все-таки умирает, и те несколько знакомых, которым он, Гаршин, решился прочесть рассказ, были убеждены, что, несмотря ни на что, застрелился. А ведь у него черным по белому сказано в конце, что оружие осталось лежать заряженным: человек не выдержал радости прозрения. Но что-то его и самого, автора, точит. Есть в рассказе какая-то смута, есть что-то, что сам он не может понять и объяснить: полно, умирают ли от радости, и так ли просто уйти в эту общую жизнь?..

Но Михаил Евграфович известил письмецом, что рассказ весь-ма хорош...

Число «25» покоя ему не дает. Две с половиной недели назад он самым скромным образом отметил свое двадцатипятилетие: втроем, с Надеждой Михайловной — Надей Золотиловой, которую он считает своей невестой, и Мишей Малышевым, Мишунём, добрым старым другом (комнату снимают вместе), торжественно распили бутылку шампанского и в четверть часа уничтожили некое роскошное сооружение из теста, апельсинов, фисташек и миндаля под названием «торт Евгения». В знаменательный день, второго февраля, он даже

отправился к фотографу; с карточки смотрит на него весьма благопристойный господин: борода, сюртук, черный шелковый галстук — вполне годится в горные инженеры, каковым по первоначальному замыслу надлежало ему стать, и даже в известные писатели, очень приличный господин — никто не удивится, если такой нацепит на выразительный нос пенсне, извлечет из кармана тетрадь в черном кожаном переплете и, важно откашлявшись, что-нибудь и прочитает на благотворительном вечере.

Чепуха, конечно, нелепость, мистика, извечное пристрастие к некоторым цифрам! Право, «25» не более в себе таит, нежели «24» или «26». Что до него самого, Всеволода Гаршина, то его число, если угодно, — «22»: двадцать два ему было, когда он, студент Горного института (впереди — благополучная карьера), решился — и: «Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули...» Такую он единым духом — как с обрыва в реку — послал тогда телеграмму и спустя месяц уже месил грязь на военных дорогах.

Но это «25» не только отовсюду лезет в глаза — число сидит внутри, мучает: юность, начало уплывают с лебедями да утицами к другому берегу по темной воде. Второе двадцатипятилетие жизни надо начинать по-новому, совсем по-новому; иначе, почитай, и первое прахом пошло — вот что его толкает, движет, заставляет шевелиться быстрее и думать еще напряженнее, чем обычно, — просто кузница в голове.

Одно время совсем было собрался прапорщиком в «глухую армию», как он говорил, — жить среди солдат, непременно в массе, учить их грамоте, растолковывать происходящее вокруг, помогать чем умеет, быть для них примером справедливости и нравственным примером. Он, конечно, не мечтал изменить порядок вообще, но поверил было, что хотя бы в пределах одного полка, пусть одной роты, сумеет побороть мордобой, сквернословие и прочие творимые господами офицерами гадости, не дозволит красть у солдата положенную ему краюшку хлеба.

Минувшим летом отправился в Ярославль — 138-й пехотный Болховский полк, в котором он воевал и к которому приписан, стоял в лагерях неподалеку от города. Офицеры приняли его с необыкновенным радушием, совершенно как своего, он был теперь гордостью полка, почти легендой — герой-вольноопределяющийся, раненный в бою, и к тому же известный писатель; все вокруг него роились, новый полковник, лихой воин с Георгием на груди, явился к нему представиться; а он, взамен благодарности, недели не выдержал — улизнул при первом же случае — не мог перенести, когда бьют людей по лицу, оскорбляют бранью. Не мог пожимать руку, только что ударившую другого чело-

века, не мог слышать похвалы из уст, только что другого человека оскорбивших. Его хуже всякой пули убивала пошлость, пошлость в поступках, разговорах, мыслях, ничтожество интересов и помыслов. А ведь и это мои читатели, думал он, и таких-то всего больше: он им про невыносимые страдания начавшей думать о себе и о мире вокруг «девицы» Надежды Николаевны, а они веселой толпой мчатся по вечерам в город, в бордель, и, возвратясь на рассвете, шумно и подробно обмениваются впечатлениями.

В петербургском военном госпитале, куда положили его на пересвидетельствование как раненного в минувшей кампании, молодежь в офицерской палате — почти сплошь сифилитики, весь день карточная игра, выпивка и бессмысленные разговоры «о службе», то есть о том, как некий находчивый поручик (непременный герой) ловко «поддел» командира или полкового адъютанта.

На войне многое искупается возможностью завтра быть убитым, но жить в бездействии и чувствовать, как пошлость во множестве обличий прорастает сквозь тебя густым, колючим чертополохом, — от этого через год, много два, руки на себя наложишь, сознавая полное свое бессилие что-нибудь переменить.

Бессилие что-нибудь в душах переменить — вот что всего мучительней...

Не лучше, конечно, и гражданская служба: о ней тоже, случалось, подумывал — несколько раз порывался искать какой-никакой должности где-нибудь в провинции. Бедная мама, не скрывая разочарования, опять же уговаривала держаться Петербурга: найдется же в министерстве — вон их сколько! — или всероссийском банке, на худой конец, подобающее место для ее знаменитого Всеволода. Но не все ли равно — провинция или Петербург, петербургская провинция: чиновничество оно всюду чиновничество, те же входящие-исходящие («Это мы пишем или нам пишут?» — анекдот про директора департамента, прочитавшего поданное письмо), взятки, хищения, угождение власть имущим, беззастенчивые пируэты, чтобы самому «в люди выбиться», непременные графинчики и картишки, винт или преферанс.

И ведь тоже читатели! Откроют «Отечественные записки», попадет в руки «Вестник Европы» или «Русский вестник» подвернется — и тот будет хорош и другой. Гаршина читают, или Каразина, или Вас. Немировича-Данченко — все, знаете ли, необыкновенно занятно пишут про войну...

Недалеко, на Литейной, живет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, годы работает, не ведая отдыха, «с вида еле-еле дышит, но как пишет — Этной дышит!» — недавно веселился кто-то в шуточных стихах, но и он, Михаил Евграфович, лишь великим трудом доискивается

своего читателя, — какое же у него, у Гаршина, право, с его редкими и мимолетными, как искры от степного костерка в ночи, творениями, избирать литературу образом жизни? Перед самим собой какое право?

Объявить себя на весь белый свет писателем, знать, что люди от тебя ждут, — и хандрить, сомневаться, бездействовать, принимать овации и предъявлять свое сердце (Михаила Евграфовича острое словцо) на публичных заседаниях и чтениях, вместо того чтобы всякий день и час сжигать сердце свое в каждом слове написанном.

...Жил да был художник Рябинин, написал замечательную картину, всех поразил, только слава ему не в радость: живут на холсте мысль, кровь, нервы художника — но кто и когда видел хорошее влияние хорошей картины на человека? Вот что бедному Рябинину спать не давало, доводило его до иступления, до болезни. Не лучше ли, решил наконец, послушаться совести, вовсе бросить искусство: сначала в учительскую семинарию, а там в деревню — учить крестьянских ребятишек уму-разуму? Только в деревне-то он не преуспел.

Это Миша Малышев, любезный Мишуной, дорогого друга Всеволода в спорах его же, гаршинским, рассказом, «Художниками», побивает: как ни желал Всеволод своего Рябинина на ясную дорогу вывести, но против правды не пойдешь — не преуспел на учительском поприще одаренный художник!.. Ах, милый Всеволод, так и твоя деревня!

Да ты, Всеволод, вспомни: совсем недавно, на нашем уже веку, товарищи и однокашники сбрасывали сюртуки и студенческие мундиры, неумело натягивали на себя купленные в торговых рядах ситцевые рубахи, чуйки, сапоги с лакированными отворотами, по которым узоры вышиты красными и синими нитками, — не «сцены из народного быта» играть собирались — «в народ» шли, просвещать, призывать, поднимать. А потом — грязь по колено, проселки, тяжелый короб с книгами через плечо, недоверчивые глаза мужика на пороге избы, удивленный взгляд бабы на чуйку, на отвороты сапог, на неловкое знамение, которым осеняет себя приходец, прежде чем сесть к столу. Еще потом — горечь отрезвления. И венцом всему — тюремные замки и крепости, пересылки, полицейский надзор.

Но ведь не по обязанности шли, отвечает он Мише, дорогому другу, в светлые, широко расставленные и всегда будто несколько удивленные глаза его глядя, — не по обязанности шли, стыдно было сидеть, развалясь, в деревянных амфитеатрах университетских аудиторий, стыдно за тихими, в смешных чернильных рожицах, столиками читален перелистывать ученые трактаты, стыдно спорить до хрипоты в набитых сизым дымом курилках и толковать о светлом будущем в уютных комнатах, где лампа под зеленым абажуром и густо заваренный чай в стакане, — стыдно, совестно...